

Что же было после эпической пьянки с моим одногруппником? Многие любят так спрашивать: «Вот напешься ты — и что?» А ничего. И про любое другое мое начинание можно так же спросить. И получить тот же ответ. Ничего.

Конечно, проблем та прогулка в Чертаново не решила. Нет, кое-что было, что логично, раз я еще не содох. Но за чем это описывать? Любое событие в моей жизни, любое начинание развивалось по тому же сценарию, что и жизнь с Патриком, только хорошего в нем было меньше, а говна — столько же. Любое. Да что ни возьми. К чему стремится человек? Вот это все и оборачивалось так, как обернулось.

Человек хочет кем-то стать. Я не стал никем. Ни писателем, ни радиотехником. Учился на своем филфаке, и чем больше вникал в суть учебы, тем больше проникался тщетой бытия. Все больше я был мучим сумасшедшими и бездарными преподавателями, бюрократами, непониманием однокашников, абсурдностью университетской программы. Сессии сдавались, зачетная книжка заполнялась, а вот голова — нет. Не прибавлялось в ней новых знаний и умений. Напротив: те бредни, которые изучали на филфаке, стали подавлять разумные мысли, к которым я долго и мучительно шел. Я стал понимать, почему так бездарно организованы школы, откуда там столько агрессивного быдла, некомпетентных педагогов, абсурдных требований. Педагогическая кухня предстала в университете во всем уродстве и гротескности. Заявляю с полной ответственностью:

покуда педагогов готовят так, никаких перспектив у нашей страны не появится.

До третьего курса я учился почти на отлично. На третьем курсе бессмысленность подкосила меня. Члены творческой группы, жополизы, да и просто те, кто чаще посещал лекции, — все они учились лучше меня без всякого напряжения. Да и зачем мне было учиться? Ради отметок? Смешно. И я продолжил «учиться» только ради освобождения от армии.

Да и можно ли тут употреблять слово «учиться», пусть бы и взятое в кавычки? Как можно говорить о какой-то учебе (пусть бы и по самой лучшей программе), когда вокруг творится такое? Когда вокруг веселятся, общаются, заводят у тебя на глазах дружбу, любовь придумывают и осуществляют смелые проекты, самореализуются во всех сферах творчества, а ты смотришь на это, словно отгорожен от мира экраном телевизора, да только никакого экрана нет, все рядом, жизнь проходит здесь и сейчас, и от нее не убежать, но и шаг ей навстречу сделать невозможно. Я пытался. Я учился на филфаке четыре года и чего только не перепробовал. Но жизнь как текла мимо, так и продолжала течь, и ни за что я не зацепился, и только уходил прочь, когда надо мной начинали посмеиваться.

И не только уходил. Бывало, после занятий на станции метро я вцеплялся пальцами в скамейку, чтобы не броситься под прибывающий поезд. Еще чуть-чуть, какое-то знамение (например, если б приехал не синий поезд, а красный) — и я б прыгнул на рельсы. Был случай, когда я чуть не перерезал вены ножом, сидя на

цокольном этаже филфака. Но и тут трусость возобладала: я ограничился тем, что воткнул нож до кости и разрисовал кровью лестницу. Долгое время там оставались коричневые надписи «2 x 2 = 5», «Продай себя Системе» и т. п., но на них всем было наплевать, как и на мои чувства. Над чувствами моими продолжали надсмехаться, и с откровенным презрением, и по-дружески, без злобы, просто потому, что так принято в этом возрасте, но мне и то и то было очень больно, и, окончив бакалавриат, я принял решение поступать в магистратуру в другой вуз. Выбор пал на РУДН. Я сочинил себе безумную надежду: раз мне невозможно найти общий язык с людьми одной со мною национальности, то, быть может, я смогу наладить контакт с кем-то издалека, к примеру, с какими-нибудь неграми? (Негры и особенно негритянки мне всегда очень нравились.)

РУДН считался элитным университетом, и я молился пройти по конкурсу хоть как-то, хоть бы и последним. Увидев результаты вступительных экзаменов, я обалдел: мой балл оказался самым высоким в группе поступавших. Видать, не так уж и плохо учили нас в университете, который мы презрительно называли «педушка».

Проклятье одиночества к тому времени вполне мною овладело и, понятное дело, что не только с неграми, но и с россиянами из собственной группы отношения наладились весьма натянутые. С трудом узнавал я, в какой аудитории будет следующая лекция, а уж вопрос о чем-то личном и вовсе лежал за гранью понимания. Но и тут навязался мне в друзья человек, которого я не ждал. Родом он был из одной республики бывшего СССР, ну и закончилась наша с ним «дружба» точно так же, как с теми двумя первыми моими «друзьями» с филфака.

Ходить на занятия в такой напряженной атмосфере было столь мучительно, что год спустя я перестал посещать РУДН и был отчислен. Так завершилось мое студенчество.

\* \* \*

У меня было некоторое образование, но что я мог с ним сделать? Хотя степень бакалавра и считается официально полным высшим образованием, основная часть работодателей склонна считать это «неполным высшим». Да и без того я знаю, что ничего не знаю и не умею. А что знаю и умею, то не могу делать, ибо слаб и ничтожен. Я был вырожденцем всегда; евгеника вшита людям в «подкорку», и потому они с детства меня сторонились; повзрослев, я во всей полноте ощутил последствия собственных поврежденных генов.

Больше не надо было резать руки и прижигать себя окурками, чтобы испытать боль, «отнимающую страдание духовное». Новые виды боли и без того открывались месяц за месяцем. Рассыпающиеся зубы, стоматит, гастрит, сколиоз, артроз, аритмия, плоскостопие и прочие неприятности, не дающие соскучиться, все прогрессировали и прогрессировали, и останавливаться не собираются<sup>1</sup>. Они только входят во вкус, я пока молод, но уже временами проклинаяю я от боли весь белый свет. Что же будет, если удастся протянуть еще десяток-другой лет? Воистину, ничего я не вижу в будущем, кроме постепенного упадка и угасания, боли и новых напастей. Ни малейшей надежды, что станет лучше. Только хуже и хуже, только ближе и ближе *бездна*.

Где-то на третьем курсе я утратил способность вставать в 6:30, чтобы приехать к первому занятию. Я и в восемь утра не мог встать, чтоб быть в универе к занятию второму. Да и к третьему приезжалось не так просто, как хотелось бы. Страшная усталость обрушилась на меня: с тех пор я большую часть времени спал. Проспав меньше двенадцати часов, я чувствовал, будто не смыкал глаз сутки, а то и двое. Мысли путались, под веками ощущался песок. Одна мысль о каком-то интеллектуальном труде вызывала сонливость.

Этим не обошлось. Тело продолжило разваливаться. Помню, особенно громко я стонал и орал, когда суставам стал приходиться окончательный конец. Я вывихнул коленную чашечку, и не где-то там в горах, а банально потягиваясь на диване. Это очень больно, но страх был сильнее боли. Я орал оттого, что такое *вообще возможно*. Дома никого не было, и мне пришлось вправить чашечку самостоятельно: все равно ни вызвать скорую помощь (телефон находился на другом конце квартиры), ни открыть ей дверь (к двери пришлось бы ползти обратно) с изувеченной ногой не вышло б. Год спустя я снова вывихнул коленную чашечку: на этот раз инцидент случился, когда мы с очень пьяным приятелем отправились в три ночи за водкой. Я поскользнулся и упал. Приятель не понял, что стряслось: он был кошмарно пьян и все пытался меня поднять, да и если б приехала скорая, я б все равно отморозил почки, ожидая ее на ледяном асфальте. Пришлось снова вправлять чашечку самостоятельно. Хирург в поликлинике, к которому я позже пришел за советом, в такие невероятные истории не поверил. Как обычно.

Самое грустное, что вместе с телом, на которое я и так почти не рассчитывал, стало приходиться в негодность последнее, что я мог надеяться противопоста-

<sup>1</sup> Список того, что мне по здоровью делать не полагается, составлю отдельно, чтобы мать дала санитарам, когда забирают будут.

вить океану дерьма: мой мозг. Видимо, его доконали пьянки и ночные бдения в попытках исторгнуть из себя литературное произведение. Как там писал Патрик?

Да и не только в пьянках и бдениях причина. Сказалась и плохая наследственность. А еще пару раз я принимал достаточно тяжелые наркотики: ЛСД (которая была не ЛСД, а какой-то разновидностью N-Bome) и мескалин. Ну, это только я их называю «тяжелыми», вообще, они являются средними, если не легкими: привыкание не вызывают и токсичны не больше «Доширака». Я поддался филистерскому предрассудку, что-де творческие личности всегда что-то употребляют, и, пытаясь повысить свою духовность, а заодно попасть в психоделический мир, где меня ждет Вельда и красивые «мультики», я принял эту дрянь. («Мультики»! Я так хотел увидеть галлюцинации, а теперь я прячусь под одеялом в ожидании часа, когда они мне явятся.)

Конечно, людям, страдающим депрессией, от психоделиков стоит держаться подальше, это даже Хаксли писал. Оба раза я попадал в так называемый bad trip, в настоящее безумие. Наркоманом я не стал, зря нас в школе пугали. Напротив, я стал убежденным противником наркотиков. Никакую они духовность не повышают: если душа пуста, химическая отравка в нее ничего нового не вложит.

Проклятые «вещества» вконец разрегулировали мою нервную систему. После мескалина, к примеру, я неделю в недоумении трогал свое тело: чувство было такое, будто оно вовсе и не мое. Страшнее стало, когда я понял, что не могу заснуть. Вместо сна я проваливался в смерть. Сон накатывает волнами, а мне казалось, будто это волны смерти. От этого я совсем вывалился на измену. После одной развеселенной ночи, когда казалось, что я по-настоящему умру, я ударил по лицу одного своего друга, который с перепоя назвал меня стукачом. Тот, понятно, ответил и повалил меня, и отпинал, ибо я слаб и немощен. Чувствую себя виноватым за тот случай.

Это дерьмо с умиранием продолжилось и все силится. Полгода спустя на даче мне приснился страшный сон. Не просто страшный, а самый страшный в моей жизни. Бабушка, которую я так обидел, снова умирала в нем и звала в бездну. Я проснулся в холодном поту, стал уверять себя, что то был лишь кошмар. Но нет, кошмар не проходил. Воздуха в комнате стало мало, свет померк. Сердце начало давать сбои, руки-ноги свела судорога, я упал с кровати, пополз ко входной двери, из последних сил отодвинул задвижку, повалился на крыльцо. Не верилось, что это конец, что он настал так быстро. Тело мое страшилось.

Постепенно отпустило. Я вызвал скорую помощь. В скорой помощи мою очередную историю выслушали с недоверием, измерили пульс и ничего подозрительного не обнаружили. От греха подальше вкололи в жопу успокоительного и уехали. А мне лучше не становилось. Едва я вошел обратно в дом, как в глазах снова стало темнеть, пульс усилился, началась аритмия. Я сел в электричку и поехал в Москву в очень странном состоянии. Как будто тело мое уже слегка отделилось и душа, в существование которой я не верю, танцует за окном вагона с Ангелом Смерти. Это называется деперсонализация. Ночью я не спал: только лягу, как снова оно начнется. И лишь на следующий день, сходя в больницу слуг народа, я узнал, что это была паническая атака.

Атаки стали меня преследовать. Такой лютой, как на даче, больше не случалось, однако я часто не мог заснуть от ощущения, что задыхаюсь или что останавливается сердце. Совсем хреново становилось, когда атака начиналась во сне. В такие моменты сон переходил в кошмар: как правило, это были кошмары про безумие. И хотя панические атаки считаются неопасным заболеванием, мне все время казалось, будто я вот-вот окончательно свихнусь, пойду крушить все вокруг, сдирать кожу со своего лица, жрать ее, обмазываться кровью и дерьмом.

Мои кошмары были крайне реалистичными. Из них я узнал, как будет выглядеть мое безумие, когда мозг полностью придет в негодность.

\* \* \*

*Я в психушке, в пустой палате, рассчитанной на четыре-пять человек. Не понимаю, как попал сюда. Постепенно вспоминаю, что медленно сходил с ума, потом процесс ускорился, и я внезапно оказался здесь. Хочу взять что-то с тумбочки, но вместо этого забываю, где нахожусь, и вижу галлюцинацию: в ней я иду по каким-то огородам, осенью, в дождливый и холодный день. Подхожу к покосившейся гнилой бытовке, мои ноги проваливаются в старые грядки. Ко мне подходит гигантская буро-зеленая кошка, я отталкиваю ее, на руке ощущение мокрой холодной шерсти. На секунду безумие отступает, я вспоминаю, что на самом деле лежу в палате. Ко мне заглядывает медсестра, говорит, пришла какая-то женщина. Я пытаюсь встать, иду к двери, но палата и кровати ужасно удлиняются и при этом сужаются, освещение тускнеет. Кое-как выхожу в коридор. Там моя жена. Ей вроде как стыдно и жалко меня, но держится она отстраненно, ибо я совсем плох. Говорит, что не верила до последнего, что я схожу с ума. И мама тоже не верила до последнего. Но когда я прошел тест (в этом тесте надо было найти ассоциации между словами, я связал слова «смерть»»,*

«грязь», «окно», «шар»), все поняли, что я поехал окончательно и, видимо, бесповоротно. Мы разговариваем с женой, сидя в коридоре психушки. Мне начинает казаться, что мы едем на машине по темным улицам, суровая жена уходит, а на водительское место садится мутный жирный тип, похожий на гангстера. Ненадолго возвращаюсь в реальность. Продолжаю разговаривать с женой в коридоре психушки. Слова даются трудом; сам того не понимая, я перемежаю свою речь огромным количеством мата, без которого мысли связать невозможно. Жена очень расстраивается, но, кажется, понимает, почему так. Наступает время ей уходить, я ложусь обратно в палату и погружаюсь в мир галлюцинаций. Плохо их помню, да и не интересные они, слишком реалистические. Только одна интересная была: маленький, я иду летом с мамой по тенистой дорожке (кажется, в Зеленограде), спускаюсь по небольшой лестнице. С тоской думаю, что в одной из последних вспышек собственного разума осознал одну из самых первых его вспышек. Понимаю, что это конец и скоро я вообще перестану себя осознавать<sup>1</sup>.

Вот таким оно и будет, мое безумие. Волны галлюцинаций и провалов памяти, невозможность отличить реальность от бреда, один сплошной bad trip, как под мескалином, только действие мескалина никогда не кончится, а вернее, кончится, но только вместе со мной.

\* \* \*

А есть люди, которые нормально живут. И не «где-то». Они повсюду. Они большинство. Они нормальны, обычны и их пруд пруди.

Личинки извергов, чмырившие меня, превратились в имаго, обзавелись хорошими работами, тачками, женами, наплодили детишек. Многие прошли армию, вернулись настоящими мужиками, всем дефкам на зависть. Никто не спился, не сел на наркотики. Пара человек поступили на работу в полицию: вот уже много лет они защищают нас от темной стороны бытия. Маньяк теперь без пяти минут кандидат наук по математике, метит в профессора. Самая вредная, тупая, злобная и наглая бабенка из моего класса теперь работает психологом в нашей школе. Эстафета поколений.

Ну, одного моего одноклассника таки посадили в тюрьму. Мне он ничего плохого не делал, а вот после школы в составе группы фашистов забил насмерть цепями девочку-таджичку. Еще из первой моей школы

<sup>1</sup> После этого сна я съездил в Зеленоград, где провел первые два года своей жизни и откуда моя семья уехала в 1991 году. Я не был там больше двадцати лет, с эпохи Внекатегориального Мышления. Но я нашел ту дорожку и ту лестницу: эту точку, из которой началось расширение моей личной вселенной, это место, где сингулярность породила мое сознание. И я узнал их.

приятель попал на кичу: этот любил «стрелять» деньги и не отдавать, но в целом я считаю его душевным парнем. В четырнадцать лет купил раздолбанный «Москвич-412» и катал нас по району, без документов, без прав на вождение. Было круто. А погорел он на угоне мотороллера.

Да и что себя с пидорасьем сравнивать? Я всю жизнь знал, что кончу где-нибудь в подземном переходе, упившись техническим спиртом, и мои бывшие одноклассники будут ходить мимо и кидать мне мелочь, говоря «Держи, неудачник!».

Была «недавно» «встреча выпускников». Я узнал о ней из «ВКонтакте». Одна телка из класса пригласила меня в виртуальное сообщество, посвященное этой встрече. Я зашел на страницу: на аватаре стояла выпускная фотография нашего класса. Я из нее был вырезан.

Я следил за одноклассниками через социальные сети, грыз локти от зависти и не сомневался, что увижу на «встрече», но до конца считал, будто есть шанс, что это самовнушение. Незаметно подкрался к школе. И только тогда окончательно удостоверился, что все приехали именно на чем, в чем и с кем я их представлял, и никакая это не моя выдумка. Незаметно я исчез. Кое-кто меня заметил у ворот школы, но не обратил внимания. Как обычно.

\* \* \*

Да, я там где-то писал, что хочу забыть школу. Не получится, не получится. Слишком воспоминания сильны. Когда я окончательно спячу, забуду маму, собственный адрес, собственное имя, я все равно буду кричать, как мой отец: «Я вас всех ненавижу!» Психиатры спросят: «Кого?» — а я не отвечу. Это нельзя объяснить, но и забыть невозможно. Это иррационально, и именно потому оно легло в основу моей личности, да и не только ее (ведь личность сотрется), а самого мозга.

Оно всегда со мной, это бесконечное и страшное дерьмо. Я боюсь и ненавижу его. Я не могу его переждать, да и зачем?

Оно всегда со мной. Пуская слюни, разучившись говорить, я буду бить санитаров, бросаться на стены, пытаться разорвать веревки, которыми привяжут меня к кровати.

Я не забуду это никогда.

Как можно забыть эту училку, которая ненавидела меня за то, что я пришел в ее класс из другой школы, да еще и был младше всех ее учеников на год? Она при всех говорила, что я маленький, что я зря приперся в ее гармоничный, так удачно сформировавшийся

коллектив. Как-то я позвал домой одного мальчика, с которым мы дружили. У моей кошки в то время была аллергия в виде корост. Мы сначала думали, будто это стригущий лишай. По простодушию товарищ мой проболтался своей маме (ему было девять лет); мама же его предупредила о «лишае» классную руководительницу. Сложно представить, как ее после этого начало пучить. И как пинали меня одноклассники.

Классная руководительница в начальной школе была заодно с физручкой. Физручка на каждом уроке ставила меня в конце строя. То есть сначала становились по росту мальчики, потом девочки, а за самой маленькой девочкой ставили меня. Так ненавидела и презирала меня физручка. Ненавидели и презирали меня и одноклассники. Во время некоторых упражнений, вроде эстафет или футбола, класс разбивали на команды. Когда разбиение оканчивалось, команды спорили, а иногда и дрались между собой. Проигравшим доставался я. «Беги, ублюдок! Шевели ногами! — кричали они мне. — Если мы из-за тебя проиграем, тебе конец!» И они чмырили меня в конце урока, когда проигрывали.

Перевели меня в другую школу, там первый год чмырили пореже. Только двое мелких гопников изредка на меня залупались. Один любил ударить меня в область сердца, а второй — по позвоночнику. Только я нагнусь, чтоб шнурки завязать, — он сразу возбуждался и по спине меня херачил чем ни попадя.

Через год, когда я поступил уже в специализированный «английский» класс, появился маньяк. Он чмырил меня каждый день, когда не болел, а не болел он никогда. Психологичка раз поймала его и спросила: «Почему ты его бьешь?» — «Ну, понимаете, — сказал тот, — как-то я услышал в чужом разговоре, что он [я] слабый, как комар. Мне и захотелось его раздавить».

После маньяка появились другие ребята. Они не запирали меня в женском туалете, не сдергивали с меня штаны при всех, как в фильмах. Зато как-то раз мной вымыли пол в классе. Они ничего никому не объясняли — просто чмырили меня всякий раз, как я попадался им на глаза. Да нет, формальные поводы они находили. Например, на кепке у меня было написано Scooter. Или рубашка была заправлена в брюки. Или смотрел я на них чересчур пристально. Или младшему их брату нагрубил. А однажды меня очень люто избили за то, что я по приказу учителей покрасил ржавые железяки на заднем дворе школы: турники, баскетбольные кольца и лесенки. Помню, я очищал одежду от краски керосином. Этим керосином я хотел облить одного из гондонов и поджечь, но, увы, не посмел. Гондон же, уцелев от всеочищающей огнен-

ной купели, только посмеялся и стал с тех пор звать меня Керосинчик.

И это только одна десятитысячная, одна миллиардная от того, что было в школе. Попытки и унижения мои можно перечислять бесконечно, вот только к чему их вспоминать? Когда я их вспоминаю, мне хочется напиться и сдохнуть, захлебнувшись блевней. Я никогда не забуду унижения. Я, сука, это из головы не выкину, я все-все-все помню — и буду помнить до могилы.

\* \* \*

Очень люблю фильм «Зеленый Слоник». Сказать «люблю» — это ничего не сказать. Я в нем живу. Богом клянусь, не разочаровался б в филологии — написал бы по нему магистерскую диссертацию.

Школьники и всяческие девианты любят «Зеленого Слоника». Им нравится, что главный герой (Пахом) ест говно. Кому-то импонирует герой Епифанцева: этот насилует расчлененный труп Товарища Капитана (героя Осмоловского).

Этот фильм — про искаженную душу. Про доброго человека, которого заставили как-то сожрать говно. Про человека взаперти, без настоящего и будущего, оставшегося в грязной тюремной камере с обрывками каких-то воспоминаний и с другим человеком, нормальным до поры до времени. Я говорю, конечно, о героях Пахомова (Пахома) и Епифанцева.

Пахом пытается наладить контакт с героем Епифанцева, поделиться с ним тем, что у него еще осталось: папиросками, теплыми образами из прошлого. Но Епифанцев еще не знает, что такое унижение, безумие, потеря памяти, — его душа до поры цела. Он просит Пахома помолчать, затем кричит на него, затем бьет. А тот все не замолкает. Герою Епифанцева невдомек, что это такое: бесконечное одиночество, непробиваемая стена непонимания. Как можно опуститься до того, чтоб играть в шашки, вылепленные из грязи? Почему человек радуется, что еще способен отжаться? Герой Епифанцева солдафон, а не психолог, ему не понять, что хоть душа его «поехавшего» сокамерника изуродована, она остается доброй и тянется к людям, да вот только формы это приобретает болезненные и уродливые: сначала истории одна страшнее другой, а как финал — тарелка с говном наутро.

В «Зеленом Слонике» потрясающе раскрыта психология унижения. Когда герой Епифанцева злится и кричит на Пахома, тот начинает обращаться к нему во множественном числе. Епифанцев недоумевает: «Кого ты здесь видишь, поехавший?», а Пахом за каждым криком и ударом сокамерника видит сонмы своих недоброжелателей: тех, кто обзывал его пидором и

накормил экскрементами. И чем страшнее Епифанцев на Пахома кричит, чем сильнее стучает, тем смятеннее становится душа этого несчастного человека и тем большую нелепицу начинает тот бормотать.

Пахом побит Епифанцевым, его попытки наладить дружбу пропали втуне. Но он не перестает надеяться, тем более его товарищ по несчастью уже начал прищипывать к миру кала и страдания (когда его заставили чистить унитаз вилкой) и, кажется, стал что-то понимать. Утром Пахом дефецирует в тарелку и обмазывается нечистотами. Униженный один раз, он уже не может жить без унижения, как поруганная в детстве девочка, повзрослев, становится шлюхой. Пахом получает от унижения нездоровое, граничащее с эротизмом удовольствие; говно превращается для него в сакральный «сладкий хлеб». Разделив «хлеб» с героем Епифанцева, он надеется наладить на этих началах дружбу, как бы говоря: «Ты унижен, раздавлен, тебе больно, и я понимаю тебя, мне так же плохо. Мы никому да не убежим из этой тюрьмы, даже если нас отпустят, мы все равно уже испачканы говном, это останется с нами навсегда: эта тюрьма будет в наших умах вечно. Так давай не оставим попытки бежать, перестанем сопротивляться нашим врагам: вкусим добровольно “хлеб”, который пытаются скормить нам насильно, и он сплотит нас крепче клятвы кровью».

Епифанцев, понятно, «хлеб» не ест, однако потом, когда мир говна ломает уже его душу, начинает творить вещи куда ужаснее, чем бред и копрофагия Пахома. Его безумие обретает иные формы: он не столь добр и смиренен, как Пахом, ну и понятно, к чему это приводит.

\* \* \*

Патрик написал как-то: «Удар, оставшийся без ответа, будет висеть над тобой всю жизнь. Он будет занесен над тобой во сне и наяву, он не даст тебе нормально существовать. Ты будешь пытаться ответить на него, но под твои кулаки попадет не обидчик, а ни в чем не повинные люди и ты сам». Так и есть. Оттого-то я и реагировал так остро на подколы и косые взгляды одноклассников, коллег и людей с улицы. Стоит кому-то причинить мне страдание, или хотя бы намекнуть на то, что страдание возможно, или и вовсе — *только навести меня на мысль о намеке на страдание*, — и тотчас начинают кружиться перед глазами, как у Пахома, скопления безобразных рыл: это уроды, искалечившие мою жизнь, — и они вопят, как кривые отражения в зеркальной комнате: «Убей себя! Бросайся под поезд! Прыгай с балкона! Застрелись!» Только я не такой добрый, как Пахом: мне не хочется спросить у человека:

«Эх, что ж вы, люди-то, делаете!», мне сразу приходит желание послать «их всех» к черту в жопу, а то и по роже съездить. Но съездить-то я не могу, и становясь в моей жизни еще одним ударом без ответа больше, стресс копится, и разрушает мое тело и мозг, и лишь иногда выплескивается в формах деструктивных, но жалких и нелепых, и от этого страдают те немногие, кто еще терпит изредка мое присутствие и не может, в силу своего благородства, отвечать на мои грубости. Понятно, что таких людей все меньше и меньше, связи с миром рвутся, трясина говна готовится сомкнуться над моим теменем.

И никак не вынырнуть. Попытаешься вынырнуть — погрязнешь еще глубже. От человека в моем положении разит дерьмом, таких все избегают. Я встречал похожих на меня людей: их немало, правда, живут они скрытно, ведь это не люди в полном смысле, а всего лишь ходячие пустые места. Но благодаря им я могу представить, как выгляжу со стороны.

Столкнувшись с одиночеством, человек начинает гнить изнутри. Он варится в собственных мыслях и так далеко забредает в них, что уже и сам не в силах понять, как туда попал, — не то что объяснить другим. Как ни тужься, получится всегда что-то дикое. Да и мыслей остается все меньше и меньше, личность стирается, интересы пропадают, и спустя некоторое время человек способен думать лишь о том, как ему плохо и одиноко. Это тяжелое зрелище. С такими людьми невозможно общаться, если ты не такой, как они, а если ты такой же, то и тут общение сводится лишь к взаимным жалобам. Как будто ешь чужой «сладкий хлеб» и делишься своим. Хочешь помочь, но как такому человеку поможешь? Ты ж не мама, чтоб родить его обратно.

Нет, не буду я диссертацию по «Зеленому Словику» писать, и не потому что нет сил, не потому, что растерял все «знания», позабыл пресловутый «теоретический аппарат». Мне просто противно говорить на языке искусствоведения — языке мертвецов, языке надругательства над истиной и смыслом. Да и все равно никому ничего не объяснишь, пиши или не пиши. Главное, что я чувствую: этот фильм говорит правду, и живут где-то люди, создавшие его и знающие многое о проблемах, в коих я погряз. Они рассказали о них человечеству, а что поняли их через задницу, этого уж не исправишь. Серьезное искусство всегда элитарно.

Я чуть было не написал, что раз есть на свете люди, понимающие мои проблемы, то, быть может, и меня когда-то поймут. Но это исключено. Для такого нужно недюжинное везение, а я свой запас удачи растратил на Диму и Патрика. Не может же всю жизнь везти. Да

и не нужно мне понимание. Поймет меня кто-то — а дальше? Не говоря уж, что и понимать давно нечего: ничего хорошего во мне не осталось, только бессильная ненависть, боль и страх. А было ли во мне что-то хорошее раньше? Не знаю. Не помню. Помню, все меня всегда избегали. Догадываюсь почему. А чтоб во мне жило что-то хорошее, интересное, что достойно было бы понимания другим человеком (ведь понимание требует множества сил и полного самоотречения), — этого я сказать не могу. Вряд ли.

Если не поможет понимание — то что? Я не знаю. Знал бы — стремился бы к этому. А я чего только не перепробовал, чтоб вылезти из говна, и все тщетно, все кануло в бездну. Столько сил, столько нервных клеток, лучшее время жизни — молодость, — все было поставлено на карту и в итоге бездарно просрано. И сижу я в одиночестве, как будто лишь вчера окончил школу, не достигнув ровным счетом ничего, без сил, постаревший на много лет, один на один с под-

крадывающимся безумием. Я не знаю, почему еще не покончил с собой. Может быть, на что-то еще надеюсь, хотя и не на что. Надежда — самое иррациональное чувство в мире. Кто-то удивляется, как люди несут деньги жуликам, например в «МММ-2», зная при этом, чем кончилось «МММ-1». А я не удивляюсь. Я знаю, что ими движет надежда, бессмысленная и отупляющая. Неистребимая. Да и почему бессмысленная? Кто-то же на этих «МММах» выиграл денег. А выиграть в «МММ» в миллион раз вероятнее, чем выбраться из говна, будучи мною.

И опять я вру. Нет никакой надежды. Мое сердце пусто, а с собой я не покончил только от малодушия. Боли боюсь и *бездны*. Вот был бы пистолет — за пулей в рот дело б не стало. Это просто как выключить свет в комнате. Про другие способы так не скажешь.

Под поезд броситься — страшно. Надо ждать его. Пока ждешь — заглянешь в *бездну*. А потом, как подъедет он, пройдет несколько мгновений, пока он переру-



бит колесом шею — а ты будешь в сознании, успеешь все почувствовать. Как сминаются в шее хрящи, связки, артерии, как хрустит позвоночник. И может, потом, когда голову отрежет, умрешь не сразу. Оставшись головой без тела, испытаешь невероятные ощущения, катаясь по шпалам в *бездну*.

Рассматривал я вариант прыжка с балкона, но и эта перспектива не радует. Слишком долго лететь, а время — я его знаю — выкинет очередной фортель, и секунды полета растянутся на вечность, и в голове воцарится Геенна Огненная.

Другие варианты и того хуже.

Где мой черный пистолет?

\* \* \*

Кто-то считает, что я сгущаю краски, излишне «загоняюсь», как нынче принято выражаться. А как тут не «загоняться», если будущего нет, а вместо него — она? Она разверзлась передо мной: ее пасть заполнила собой весь горизонт, она черная и огромная, как горный массив, и из-за невысказанных масштабов я не могу понять, близко она или далеко, проживу я еще пару дней или несколько десятков лет. Да и коли отпущены мне десятилетия, все равно пролетят они, и не успею я оглянуться, как полечу *туда*.

Мое накачивающее безумие ускорило время, я перестал замечать, как исчезают дни. Дни — они как секунды, месяцы — как дни. Пока я это пишу, прошли месяцы, то есть годы. Мне не на чем задерживать взгляд, все стремительно меняется, наступает будущее. Я ждал будущего в детстве, теперь боюсь его. Я даже не пишу, сколько мне сейчас лет, потому что через месяц это станет неправдой. Все, к чему я привык, распадается: я пытаюсь обнять самое милое мне, но оно в моих объятьях рассыпается в прах. Мама стареет, все умирают. Я перестал держаться за что бы то ни было на скользком покатом обрыве, который мы называем Нашим Миром и который навис над безграничной тьмой.

Она хитра и коварна. Ей мало лишить меня будущего, отравить настоящее. Это для меня годы и дни пролетают незаметно, а ей все долго, она не хочет ждать. Она тянется ко мне, я пытаюсь отвернуться, катиться под откос спиной вперед, глядя в прошлое, но и там, оказывается, уже она. Самые светлые и теплые воспоминания, которые я храню бережно и ревностно, в которые стремлюсь убежать, — они тронуты гнилью. Когда-то у меня была отличная память. Теперь — решето. Воспоминаний в ней осталось лет на пять, и те исчезают. Под конец жизнь будет казаться мне не более чем несколькими вспышками сознания среди

непрекращающихся галлюцинаций, эдакими обрывочными кадрами в океане белого шума (или черного безмолвия).

Говорят, мужчина думает о сексе в среднем раз в минуту. А я раз в минуту думаю о боли и смерти. У меня больше нет сил с этим бороться, и идей никаких не осталось. Значительную часть суток я сплю. Когда просыпаюсь, мной овладевает бесконечная усталость, словно я не только что проснулся, а всю ночь под ведьмами скакал. Слабость такая, будто я и впрямь отравлен каким-нибудь свинцом или ядом Анчара. Иду на работу. Всегда устраиваюсь туда, где не надо работать по восемь часов. Много денег так не сделаешь, но на что мне деньги? Я все время опаздываю, потому что не могу вовремя проснуться. Никому не объяснишь, что это такое: *бесконечная* усталость. В меня плюют, называют лоботрясом. Те, кто верит в меня, разочаровываются, укоряют: я подвожу их. Еле-еле выполняю элементарные обязанности. После работы я устаю так, что засыпаю в метро или в автобусе. Иногда от безысходности и бессилия я прихожу в смятение, сравнимое по интенсивности и количеству мрачных образов лишь с мескалиновым «бэд-трипом». Еду в автобусе — и мне кажется, что за окном бездна. Отворачиваюсь от окна в салон, а вокруг — они, людишки, кровожадные, смотрящие на меня с отвращением. Стоит встретиться взглядом с кем-то из них — и он все про меня узнает, скажет что-нибудь унижительное или изобьет, зная, что ничего ему за это не будет.

Изредка напиваюсь. День, другой, третий. На четвертый алкоголь перестает приносить облегчение. Надоедает говорить с самим собой. Ненавижу это дело. Разговор с собой — это текст, который просится на бумагу, но который недостойн ее коснуться. Творческий онанизм, иначе говоря. Нет, не так. Все мое «писательство» — сплошной творческий онанизм; ну а разговаривать с самим собой спяну — это как дрочить не вставший член.

Я знаю, давно пора лечиться. Я ходил к психиатрам. Не скажу, что добился от них понимания, да и не ждал я его. Смысл ждать того, чего не существует? Они прописали мне препараты. Я исправно принимал их. Сил не прибавлялось, а безысходность стала преобразовываться в странную и плохо контролируемую ярость. Начались побочные эффекты, заставившие меня прекратить терапию. По-хорошему стоило бы врачам подобрать другие лекарства, чтобы побочки минимизировать. Но понимание — роскошь, не всем дано быть как тот великий медик из подросткового отделения, что реабилитировал меня в 2007м.



Можно было бы лечь в больницу, чтобы быть под постоянным наблюдением, чтоб корректировки в лечение вносились оперативно. Но тут работает психологический барьер. Я боюсь психушек. В психушке, как и в любой другой больнице, человек становится как бездне еще ближе. Я знаю, что когда сдамся на милость врачей, в моей жизни начнется новая эпоха (то есть новый этап угасания), когда на собственные силы полагаться будет бесполезно и без медицинской помощи дальнейшее существование окажется немыслимым. Я знаю, что сил больше нет, не на что полагаться, кроме как на добрых дядей в белых халатах, однако до последнего пытаюсь тешиться иллюзией, будто что-то «могу».

\* \* \*

Работал я в одной конторе, и менеджер наш строил из себя *интеллигента, строящего из себя быдло*. В действительности же он был *быдлом, строящим из себя интеллигента*. И, как и всякое быдло, он быстро раскурил меня, стал плевать в душу и «резать правду-матку». «Ты, — сказал он, — человек, *неудовлетворенный полностью*». Этой реминисценцией из романа братьев Стругацких он, во-первых, демонстрировал свою начитанность и, во-вторых, показывал, что видит меня насквозь. Я не был удивлен и отпираться не стал. Да: мне не нравится *всё*. Когда не болит спина, желудок, зубы, суставы, голова, глаза и ноги, когда во рту нет язв, я гляжу за окно. Вижу машины во дворе — и думаю, что это примитивные механизмы из позапрошлого века, давно устаревшие, загрязняющие природу; им давно пора на свалку истории, но кому-то там невыгодны водородные и электромобили, и это архаичное дерьмо продолжают выпускать, толкая планету в бездну. Я смотрю на асфальт и думаю, как он хреново уложен: только в прошлом году сделали, а уже одни трещины, колдобины, — видать, разворовали все. Смотрю на деревья на газоне — а деревья больные, половина веток засохшая, кора вся в грибок, какую-то несчастную березку придурковатые коммунальщики со всех сторон в бетон закатали, и она медленно задыхается. Где-то остался газон, но что это за газон? Полувытопанный, чахлый, заваленный собачьим говном, каждые три дня подстригаемый дворниками. Состриженная трава и опавшие древесные листья вывозятся на свалку, почва беднеет, уцелевшим растениям все сложнее и сложнее выживать на ней. Над деревьями плывут облака, а там, где небо чистое, видна коричневая дымка промышленных выбросов — это воздух, которым мы дышим. Ночью

зажигаются фонари, но и ими я недоволен: в них горят ртутные лампочки, загрязняющие окружающую среду, или дающие мерзкий оранжевый свет натриевые, а давно пора бы поставить светодиодные, практически вечные, энергоэффективные и экологически безопасные. Но нет, лучше будем пилить деньги на поставках газовых ламп. И так со всем. Очень я беспокоюсь за планету. Мне в школе вдолбили, что за планету почему-то надо беспокоиться. А почему надо? Для чего? Как будто от моего беспокойства бездна станет дальше.

Да уж. В междушный ганглий быдло-менеждера не уместится полное осознание его собственной правоты: *я человек, неудовлетворенный полностью*.

\* \* \*

Только летом становится чуть полегче. Можно убежать на дачу. Дачу мать так и не продала: в последний момент выяснилось, что покупатели, уже въехавшие в наш дом, — это агенты ФСБ. Последние документы подписаны не были, а подписанные — расторгнуты. На нас хотели подать в суд, и матери пришлось заплатить несостоявшимся покупателями полтораста тысяч, полученных с продажи другого участка армянам.

Вот на даче я летом и сижу. Как-никак, человек — дитя природы, естественная красота проникает в душу и умиротворяет ее. Хотя и там немало дряни. Всюду свалки (под них вырубает целые рощи), улицы перегорожены заборами, мусорные контейнеры заперты на семь замков, соседи слушают шансон и Верку Сердючку, выгуливают бойцовских собак, мечтающих меня убить, плата за пользование участком год от года растет в геометрической прогрессии, эти деньги успешно разворовываются администрацией садоводческого товарищества или бессмысленно транжируются, например, на постройку трех заборов вокруг помойки или замену «морально изношенных» фонарей, в свою очередь установленных пару лет назад. Дом, построенный рукожопыми вьетнамцами, из второсортных материалов и по безграмотным чертежам, весь потрескался, фундамент размывается, крыша протекает, окна не открываются, подвал затоплен, в комнатах сырость, печка не топится, колодец не чищен, и пить оттуда невозможно, туалет покосился, душ прогнил. Что-то пытаюсь исправить сам, но, будучи рукожопее вьетнамцев, делаю только хуже.

Бабушка любила дачу: все здесь создано по ее задумке и на ее средства. Помню, она несколько лет подряд мечтала перестроить крыльцо: у нее болели ноги, и подниматься по крутым ступеням без перил ей было

тяжело. Как-то она собралась и наняла бригаду, и они сделали именно такое крыльцо, какое нужно: и с перилами, и со ступенями, и даже с козырьком. И именно в это лето она заболела и больше никогда уже не поднималась по обновленному крыльцу. Она пыталась приехать на дачу несколько раз, но сил не хватало. Я мог бы подкопить денег и вывезти ее туда на такси: она была бы счастлива, но я предпочитал покупать себе сникерсы. Да и страшно было: когда мать забирала ее, большую, с дачи на нанятой машине, их по дороге встретили «братки», пытавшиеся ту машину «подрезать», не то ради подставы, не то чтоб просто поиздеваться.

А я вот дачу не любил. Дом казался огромным и страшным, особенно по ночам. Я боялся призраков, сатаны, чудовищ. И только после того, как угроза продажи перестала висеть над домом, я приехал туда с другими чувствами. Отныне это был Мой Дом, для меня он стал лучшим на свете. И дом как будто начал отвечать мне взаимностью. Мне стало в нем уютно и спокойно; монстры отныне жили не в подвале и не под крышей, а за внешними стенами. Я чувствовал, как холодно, темно и грустно дому весной, зимой и осенью, когда он один, под ударами непогоды, холодный. А приеду я — зажгу свет во всех комнатах, музыку включу — и сидим мы вместе. То есть я сижу один в пустом доме.

Там так красиво и так грустно, на даче. Мне там почти хорошо, но я не могу насладиться красотой и умиротворением, ибо знаю всегда: они скоротечны, а говно вокруг вечно и незыблемо; вот кончится закат, пройдет дождь, забудется красивый сон — и опять воцарится на горизонте бездна, словно я пронесся на автомобиле мимо расцветенного огнями бара на ночной дороге, ведущей в никуда.

Патрик тоже пытался задержать мгновения счастья. И тоже не мог. Как-то он выложил в Интернет стихотворение (оно вроде бы не его авторства):

За столом сидит гость.  
У него во лбу гвоздь.  
Это я его прибил,  
Чтобы он не уходил.

Каждый вечер, ложась спать, я обещал что-то придумать, чтобы выбраться из этой задницы. И каждый год, уезжая осенью с дачи, я говорил дому: «Держись, домик, не болей. Вот приеду я в следующем году другим человеком, и все наладится. Я устроюсь на нормальную работу, будут деньги. Починю тебе и крышу, и фундамент, поправлю туалет, колодец прочищу и все оборудую по высшему классу». Так замыкаются суточные и годовичные циклы ничтожной

жизнишки. И каждый новый день остается таким же бессмысленным, как вчера, и каждый новый год ничего не меняется (точнее, меняется, но только к худшему), — и я больше ничего никому не обещаю: ни себе, ни дому.

Еще я люблю путешествовать. Из пафоса я называю это «странствовать». Только редко это происходит: обычно у меня нет денег, а когда они появляются, нет попутчиков. Кому нужно шататься со мной по лесам и свалкам? Одному же ехать куда-то тошно и страшно — куда проще попить пивко на диване. И только раз-другой в год удается куда-то вырваться, и вот тогда становится по-настоящему хорошо: ведь каждое путешествие — это маленькая жизнь, отличная от этой, основной, жалкой и беспросветной, и опять неизменно грустно становится: ведь быстро кончается путешествие, и «так и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова».

\* \* \*

Я долго искал виноватых. Меня за это порицали. В школе вечно втемяшивали: «Только слабые люди винят в своих проблемах окружающих. Сильный знает, что виноват только он сам». Было дело, покупался я на эти измышления. Я видел и вижу, в чем заключалась моя вина. Я признавал свою вину перед окружающими. И что? Люди, которые что-то там рассуждали про «сильного человека», плевали в того, кто признает свои ошибки и готов возложить на себя за них ответственность. Такого человека никто не уважает, и при случае всегда пеняют: «А помнишь, как ты был неправ в тот раз?»

И сами они своих ошибок не признают. Не только из страха, что на них будут пенять. Признавать ошибки — это путь к саморазрушению. Если ты действительно поступил когда-то неправильно, этого не исправишь. А вот мозг будет терзаться сознанием собственной некомпетентности в каком-то вопросе, и совесть замучит, коли поступил ты аморально. Но, быть может, признание ошибок прошлого поможет не допускать их в грядущем? Нет, и тут обломчик. Ситуации никогда не повторяются. А в другой ситуации, пусть и похожей, человек обычно совершает те же ошибки. Я причинил людям столько зла, и знаю это, и проклинаю за это себя, и все равно при каждом удобном случае продолжаю творить зло. Если нет мозгов и душонка гнилая, то никакие костыли «жизненного опыта» не заменят нравственность и логику. Вот людишки ошибок и не признают, чисто из инстинкта самосохранения. Мне это казалось отвратительным, но это правильно и разумно.

Вот, например, Снежана. Много лет спустя она мне позвонила. Для чего, спрашивается, может позвонить человек после всего, что было сделано и сказано? Снежана позвонила, чтобы я купил ей в Москве шубу. Она нашла хороший вариант на интернет-барахолке, а двадцать тысяч перечислять непонятно кому ей было боязно. Она уж хотела отправить в шопинг-тур Патрика, но тут вспомнился я. Она перечислила деньги, и спустя неделю шуба пришла к ней по почте. Я согласился не из рабского менталитета: не потому, что «отказывать плохо». Я сделал это ради Патрика. Чтобы он не приезжал в Москву, не тратил свои силы и время. Так-то.

Я бы хотел быть таким, как Снежана. Мне жилось бы гораздо легче. Основная часть проблем исчезла б.

Я хотел бы походить на ребят-озорников из моей школы, которые пытались вбить в меня разум. Они надеялись, что я стану умнее и сильнее, социализируюсь, но их идейный посыл дошел до меня слишком поздно.

Еще я бы хотел стать риелтором. Они хорошо зарабатывают, ведь в российской экономике рынок недвижимости самый прибыльный после нефти и оружия и даже наркобизнес за пояс затыкает (с редкого нарколога сдерешь столько, сколько с ипотечника или квартироръемщика).

Что ж я не стал таким, как хочу? Все из-за школы. В школе почему-то вдалбливали мысль, что таким быть плохо. Именно вдалбливали, не объясняя, почему «плохо», для кого «плохо». Нас учили по советским лекалам. Нет, не вижу ничего дурного в моральном кодексе строителя коммунизма. В СССР человек, должно быть, мог и должен был хорошо жить, руководствуясь этими законами. Но времена изменились, миром правят грязные зеленые бумажки, и учить надо совсем другому: эффективности, конкурентоспособности. Меньше чесать метлой, больше действовать. Ну а я купился на моралистику прошлого века и готов стать главным экспонатом в музее деловой импотенции и личного банкротства. Я тот, кого называют «совок»: вечно ждал, что люди проявят честность, ждал, что кто-то обо мне позаботится.

Больше двух десятков лет нет на свете Советского Союза, а программа в школе не менялась. Учат там какому-то товариществу, которое сроду в глаза никто не видел, пичкают критическим реализмом, достоевщиной, опошляют понятие «выгода», «предприимчивость». Нет бы Айн Рэнд проходили. Или на общественности изучили б Жилищный кодекс РФ вместо проповедей, что-де наркотики принимать плохо, а служить в армии хорошо. Не могут ничему хорошему научить — так пусть хоть сучьи законы жизни не утаивают! Почему, спрашивается, всего этого не проходят,

когда давно ясно, что главное в жизни деньги и личный успех? Есть на этот счет идея. Если все дети поймут, что от них будет требоваться в жизни, уровень конкуренции в обществе многократно возрастет. Вместо волков и баранов социум станет состоять из одних волков, которые примутся грызть друг друга и бороться за более высокие места в иерархии. Волков-то не получится стричь и доить.

И хоть переустроить школу под вызовы общества было бы правильно и честно, это противоречило бы нашим законам жизни, которая сама не честнее риелторского договора. Успеха добиваются те, кто вовремя понимает, что в училок надо плюнуть, моралистику пропускать мимо ушей и почитать вместо «Бедной Лизы» учебник по экономике, ну или по программированию. Никто к этому не подтолкнет, никто не научит. Жизнь не была бы сучьей, предупреждай она о своем сучестве загодя. Не можешь действовать сам с малолетства — пеняй на себя.

Хочу сказать, что в моем нынешнем дерьме виновата главным образом школа, эта фабрика по производству баранов, этот концлагерь, где меня лишили человеческого достоинства. И еще много кто виноват. Виновата природа, создавшая меня вырожденцем. Я виноват также. Но в том, что у меня отняли право на счастье, виноваты только *они*.

Ах, если бы немножечко иначе  
Была моя устроена печаль...  
Смотрите: я опять сижу и плачу —  
Ну разве вам меня совсем не жаль?

Я с того света к вам дважды вернулся,  
И вы сказали: больше — никогда!  
Вы виноваты в том, что я свихнулся,  
Вы виноваты в том, что навсегда.

Я потерял остатки всякой веры;  
Я в этот вечер пьян до синевы,  
Я в эту ночь убит из револьвера,  
И виноваты в этом только вы.

И пусть людишки, которым я по скудоумию доверял свои проблемы, винят одного меня. Я знаю, почему они так делают. Вовсе не из знания жизни, не из-за своей непомерной духовности. Они всего лишь презрительны и высокомерны. Они любят обвинять, самоутверждаясь на том. Но и не только потому. Главная причина — что мое существование опровергает их представление о жизни как о горной тропе с препятствиями. Я ведь все сделал, чтобы добиться счастья. Все предпринял, пытаюсь выбраться из говна. Но никакого счастья не достиг, есть только говно, и это про-

творечит концепции, гласящей, будто всего можно достичь, если очень постараться. Из чувства самосохранения они считают, будто я все равно виноват в том, что есть: недостаточно старался, а может, «внушил себе», что я неудачник, а может, столкнулся с высшей справедливостью, и это бог, судьба лишили меня счастья по заслугам: я где-то нагрешил, подпортил карму, и ангел в небесной канцелярии подсчитал, что кредита<sup>1</sup> у меня на счету скопилось больше, чем дебета.

Ну ладно, я «заслужил». А как насчет Димы, который в семнадцать лет умер? Что, и он «заслужил»?

Не знают они ботаники. Есть на свете такие деревья, которые очень быстро растут. Баобаб, например. Приехал ты в какую-нибудь южную страну, оставил автомобиль подле хижины, а сам ушел в двухдневный запой. Просыпаешься — батюшки! — сквозь дрышпачок баобаб пророс. А вот сквозь мой дрышпачок личностного и социального развития пророс Анчар, и никуда я после школы на нем не поехал.

Да и перестало меня волновать с некоторых пор, кто виноват. Какая разница кто? Валентин что-то там про ответственность говорил. И не он один этим пышным словом щегольнуть горазд. А что это за «ответственность», хотелось бы услышать? Я вот знаю, что есть перед законом ответственность: совершил преступление — сел в тюрьму, к стенке встал. А перед жизнью? Тут есть только расплата. И на кого свои грехи исхитришься переложить — тот за тебя и расплатится. И вот за преступления маньяка, за развлечения мелких садистов, за убийство Димы, уплывшую из-под носа квартиру отца и отформатированные жесткие диски Патрика расплачивается не кто-то там, а я, и не когда-то там, а всю жизнь. Отвечать же никто не намерен, дураков нет, что бы там ни плели старые клуши о морали и нравственности.

\* \* \*

*Учителя в младших классах заметили его повышенную возбудимость, ему не повезло с учителем, которая была грубой, кричала на детей. И его перевели в другую школу, при педагогическом университете. Там было лучше. Но один психически нездоровый мальчик часто его просто так бил, дело доходило до милиции. Был робким, себя защитить не мог. Тот обидчик потом год лечился в ПБ. Но были другие ребята, которые просто издевались над ним, надсмехались, он терпел, боялся жаловаться, так как боялся их мести. Учителя-психологи помогали ему справиться с психотравмирующими ситуациями. Стал лучше*

<sup>1</sup>Моя бабушка всегда произносила «кредит», а она профессионал: заслуженный экономист Башкирской АССР.

*учиться и серьезнее относиться к учебе, появился друг Дима по общим интересам к радиотехнике. Окончил 11-й класс и поступил в МИРЭА на вечернее отделение, проучился полгода и с января 2007 года бросил обучение, не нравилась будущая специальность. В ноябре 2005 года умерла его любимая бабушка, и в этот же день год спустя погиб его лучший друг — его зарезали хулиганы. Это сказалося на его здоровье, утром было плохое настроение, считал себя неудачником, были головные боли, депрессия с вялостью и слабостью. В институте обругал педагога информатики, хлопнул дверью и ушел. Сейчас готовится самостоятельно для поступления в педагогический университет на филфак. Пишет рассказы, повести больше мистического характера. Их читали завуч, учитель литературы, видели у него способности. Не переносит над собой крики, грубое обращение, запреты, несправедливость, давал реакции протеста. А полтора месяца назад по Интернету познакомился с девушкой, даже влюбился в нее, пригласил ее к себе в Москву, не согласовав это с матерью. Мать была в ужасе, когда та приехала к ним. Эта девочка, видимо, психически больна, так как писала рассказы о самоубийствах с рисунками крестов, топоров, могол, шприцев, подробно описывала действия наркотиков, алкоголя и т. д. Она повлияла на сына, и он тоже стал писать подобное, с упаднической депрессивной символикой. Мать повела себя неправильно, грубо и своим отношением оттолкнула сына от себя, спровоцировала возбудимость, реакции протеста. В возбуждении топором разбил стул, дал матери серп и сказал «убей меня», переживая разрыв с девушкой, в знак протеста встал в проеме двери и не выпускал мать на улицу. Мать позвонила по 03 в скорую помощь, там посоветовали обратиться в милицию. Приехали из милиции и взяли в отделение милиции, оттуда вызвали скорую психиатрическую помощь и оттуда направили в недобровольном порядке в данную ПБ.*

Это из моей больничной выписки, доставшейся мне обманом и хитростью. Напечатана она тогда, в 2007 году, на пишущей машинке через копирку, рукой лучшего на свете психиатра, одного из мудрейших людей, что мне встречались. Никто и никогда не писал обо мне с такой теплотой и сопереживанием. Но и он не уяснил, что это была за «девочка, рисовавшая кресты». А остальным и подавно не расскажешь.

Не докричишься ни до кого. Плюнут, посмеются. Ну, был такой неудачник, всеми чмыримый: отмахивался от гопя бумажкой с собачьим калом, бомжевал на теплотрассе с девочкой-фриком. Подох в говне, пуская слюни. Смешно ж, хрестоматийная история.

А так хотелось кричать. Человек животное социальное. Язык чешется, а всем до лампочки. И разрubaются топорами стулья, бьются кулаками зерка-

ла, разламываются сотовые телефоны. И все равно всем до лампочки, а расплачиваться приходится кому? Правильно. И после каждого такого случая бездна становится ближе, каждый такой раз — удар в спину собственному разуму, из последних сил цепляющемуся за скользкий обрыв. Пару раз прихотило *оно*: как вспышка, выжигающая глаза и рассудок. Я больше не кричу, ничего не ломаю. Это не имеет смысла. Да и ничего не имеет.

\* \* \*

Сначала бабушка. Я так и не успел с ней поболтать про дедушку, про мудака-брата, доброго дядю и отца. Про войну хотел я ее расспросить, про дом Брежнева, работу в КПСС. Не успел. С тех пор как мы с Патриком жили у них, я приезжал к отцу примерно раз в месяц. Отец пил со мной пиво, а бабушка очень переживала, боялась, что я стану таким же алконавтом. Она ругала нас, обещала позвать милицию. Почти до самой смерти (а умерла она в 86 лет) она сохраняла рассудок и относительное физическое здоровье. Лишь в последние недели случился с ней инсульт, лишивший ее разума. Оно и славно: когда пришла смерть, она ничего не понимала, а то бы так и умерла с горькими мыслями о пропащем отце и внуке-бухаре, дружащем с сомнительными бабцами из далеких городов.

Отец канул в бездну двумя годами позже, через два дня после моей защиты бакалаврского диплома. Я и ему многое не успел сказать. Как я уже упомянул, встречались мы раз в месяц, и отец давал мне денег, где-то тысячу рублей или чуть больше. Отец оттого считал меня чем-то вроде шлюхи, да и правильно делал. Но и без того его мнение обо мне как о неполноценном давно утвердилось. Очень его огорчало, что воспитан я женщинами и что в школе мне все пинков давали. Сам-то отец был чемпионом Москвы по борьбе за тысяча девятьсот какой-то год. Он вообще был талантливым человеком: хорошо рисовал, играл на многих инструментах, был инженером на радиозаводе, а главное, гениально вырезал по дереву. В детстве он то и дело приносил мне собственноручно изготовленные модельки машинок, выполненные очень профессионально: с окнами, вращающимися колесами. Помню, была модель «Победы», у которой даже открывался багажник, а в нем лежало деревянное запасное колесо. Но мать с бабушкой привили мне к отцу такую ненависть, что я во время своих игр ломал отцовские машинки молотком (шедевры, в которые он вкладывал душу, которые стоили бы сейчас десятки тысяч). Только «ЛуАЗ-969М» и «Победа» уцелели от маленького ублюдка по имени Я. «Победу» у меня по-

том стащили «друзья», а «ЛуАЗ» стоит у меня на столе и сейчас, когда я пишу эти строчки.

Резюмируя выше сказанное, напишу, что отец испытывал ко мне чувства противоречивые, а я его банально ненавидел. Сначала за то, что он пил (это мать с бабушкой внушили мне, что если человек пьет, то на нем крест поставить нужно), а потом за то, что он квартиру брату подарил. Вот только его мать незадолго до смерти рассказала мне свою версию случившегося. В этой альтернативной истории брат пришел к отцу с предложением квартиру ему в дар передать, а отец замялся и позвонил моей матери. Спросил, не нужна ли мне комнатка. Мои мать с бабушкой настолько его ненавидели, что отказались. «Нам от тебя, алкаш такой, ничего не надо». Печально, что я узнал это лишь по прошествии стольких лет, когда все оскорбительные слова были сказаны, все машинки разломаны молотком, и встала между нами стена долгих лет разлуки, тотального непонимания...

Общаясь с отцом, я увидел, что у нас с ним куда больше общего, чем могло бы показаться. У нас и руки одинаковые, и одинаково мы моргаем, и в двери одинаково стоим, когда болтаем с кем-то, одинаковый поручик Ржевский является к нам с перепою.

Стал я с отцом дружить, принес видак с кассетами, компьютер, начал учить его с ПК обращаться. Да только не мог он этого принять и предпочитал напивать меня пивком и «Тремя топорами» вместо того, чтоб основами компьютерной грамотности овладевать. Так и умер он, не поглазев в «ВКонтакте» на симпатичных барышень и не поболтав со мной по душам. Он улетел с обрыва, запомнив меня как шлюху, приезжавшую к нему ради сраного косаря.

Засосала бездна зюгановских старушек и престарелых учительниц. Я не злюсь на них: в основном это были хорошие люди. Только слишком доверчивые. Верили в коммунизм и школьное образование, в КПРФ и разумное/доброе/вечное, моей маме верили. А мне нет. Мы ж *ельциноиды*, пропащее поколение рыночных реформ, что нам доверять? Общаемся со шлюхами, пьем, лжем, думаем о себе только. С этими мыслями они нас покинули.

У Вадима начался рак горла. Вот уже несколько лет он борется с бездной. Я надеюсь, что хоть он выздоровеет, но с тех пор как погиб Дима, он как будто проклят, случаются с ним вещи абсурдные и фантастические в своем ужасе, и рак — лишь одна из них<sup>1</sup>. Анчар опутал его ядовитыми ветвями сильнее, чем всех нас.

О Патрике я знаю мало. Знаю, что покончить с собой он больше не пытался. Он пошел дальше (ока-

<sup>1</sup> Пока я несколько лет писал это, Вадим тоже умер. Покойся с миром, добрый друг, спасибо, что всегда помогал.

залось, что это возможно, хоть я раньше говорил обратное). Он перестал писать. По крайней мере, прозу. Его стихи иногда появляются в Сети, но сомневаюсь, что они кому-то, кроме него, понятны. Он работает (работал?) на заводике, производящем вентиляционное оборудование: режет металл на плазменном станке с ЧПУ. Он сделал то, что от него хотели другие, и это стало наивысшей формой саморазрушения, хуже смерти. Он превратил себя в «нормального человека», осуществив мечту своего окружения и плюнув тем самым всем им в лицо. Вот так взять — и закопать в могилу свой талант — это больше всего. Но никто этого не поймет. Чтобы это понять, нужно *иметь талант*, а людей, способных этим похвастаться, практически нет. Их мало настолько, что это число можно списать на статистическую погрешность.

Ну, Снежана с Валентином довольны. Моя мать тоже счастлива (насколько может быть счастлив человек, которого преследует ФСБ и чью жизнь разрушил мой отказ уехать в КНДР). Они желали нам добра — и донесли его до нас. Они старше и умнее, повидали многое, и теперь, когда мы живем по их правилам, с нами ничего плохого не стрясется.

\* \* \*

Патрика я потом видел, много времени спустя. Это случилось под Новый год, когда настает время чудес. Вечером 30 декабря я купил втридорога билет на странный автобус, где вместо сидений стояли деревянные топчаны. Свой топчан я разделил с толстым ростовчанином и негром с Гаити. По телевизору шел тупейший фильм про то, как по всей планете начинаются землетрясения и наступает конец света. Помню, негра он особенно раздражал, а через неделю на Гаити случилось мощнейшее землетрясение, фактически стершее это государство с лица Земли. Бывает же.

Мой мир тоже разрушит землетрясение. Собаки уже воют, предчувствуя его.

Автобус был дряхленький, всю дорогу ломался. Я уж и не чаял попасть в Ростов к Новому году: святой Петр опять взялся за старое, не желал пускать меня к себе. И все же к восьми вечера я доехал (путь занял больше суток). Я был в толстом круглом пуховике, шерстяных носках, а в Ростове стояло плюс пять по Цельсию, и выглядел я несуразно даже по меркам собственной нелепости. Гопники на улице смеялись, но в ту ночь им было не до меня.

Люблю, когда никому до меня нет дела.

Мы встретили праздник в квартире у одного друга Патрика (в смысле, подруги, но тоже говорившей о себе в мужском роде). Несложно догадаться, *что* я загадал на двенадцатый удар курантов. И как потом мое желание «сбылось».

Денег не было, не удалось даже выпить. Да и зачем выпивать, когда рядом Патрик? Он был очень красивым.

Я спал под столом.

Следующий день был странным, совсем не похожим на 1 января. Снега не было — только грязь, разваливающиеся дома и низкие тучи. С Дона на полз туманище, да такой, что за метр ничего разглядишь. В этом тумане мы совсем потерялись. Только под вечер нашлась какая-то дорога: она привела нас в то место, где стояло страшное, древнее разрушение, в заброшенный цех с Мыслящей Лужей. Только Лужа ушла оттуда, унеслась в иные измерения. Изломанный кувалдами пол остался сухим, если не считать густых химических отходов, вытекших из окончательно прогнивших бочек.

Мы хотели сказать друг другу нечто важное, но незримая стена встала между нами, и как будто кто-то темный находился в соседнем помещении, какой-то маньяк или хуже маньяка. И поняли мы, что все нами пережитое, нами прочувствованное — не более чем фантазии Мыслящей Лужи, а теперь ее нет и некому больше мечтать о нас.

Обратно я уехал в том же тумане. В нем точно был временной разлом: до Москвы домчали за тринадцать часов, метла стражей рая поработала на славу.

В Москве 1 января чувствовалось хорошо, хотя уже наступило 2-е. Тут был и снег по пояс, и оглушительная музыка, огни, блевотина в метро. Москва — это сплошной карнавал, но я на нем без приглашения.

Я смотрел на блевотину на полу вагона, вспоминал счастье и думал, что вот подохну, и это будет единственное, что я сделаю в жизни хорошего: исполнится мечта полчищ нелюдей, желавших мне смерти. Они, конечно, не порадуются, но косвенно удовлетворение получают, ведь инстинкт уничтожения слабых на мгновение успокоится: чуть меньше будет мучить их проблема перенаселения планеты, не надо будет транжирить средства налогоплательщиков на мое бесплодное лечение, улучшатся статистические показатели, вырастет конкурентоспособность России на мировой арене в частности и эффективность человечества в целом; небо надо мной очистится от копоты, пространство освободится, и на этом месте можно было б соорудить что-нибудь полезное: например, на нем могла бы быть ваша реклама.